

К8

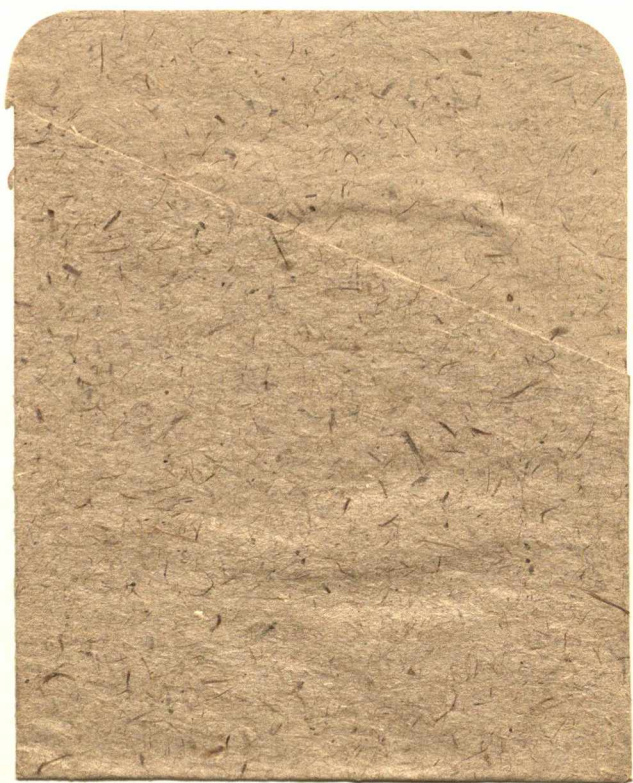
Д46

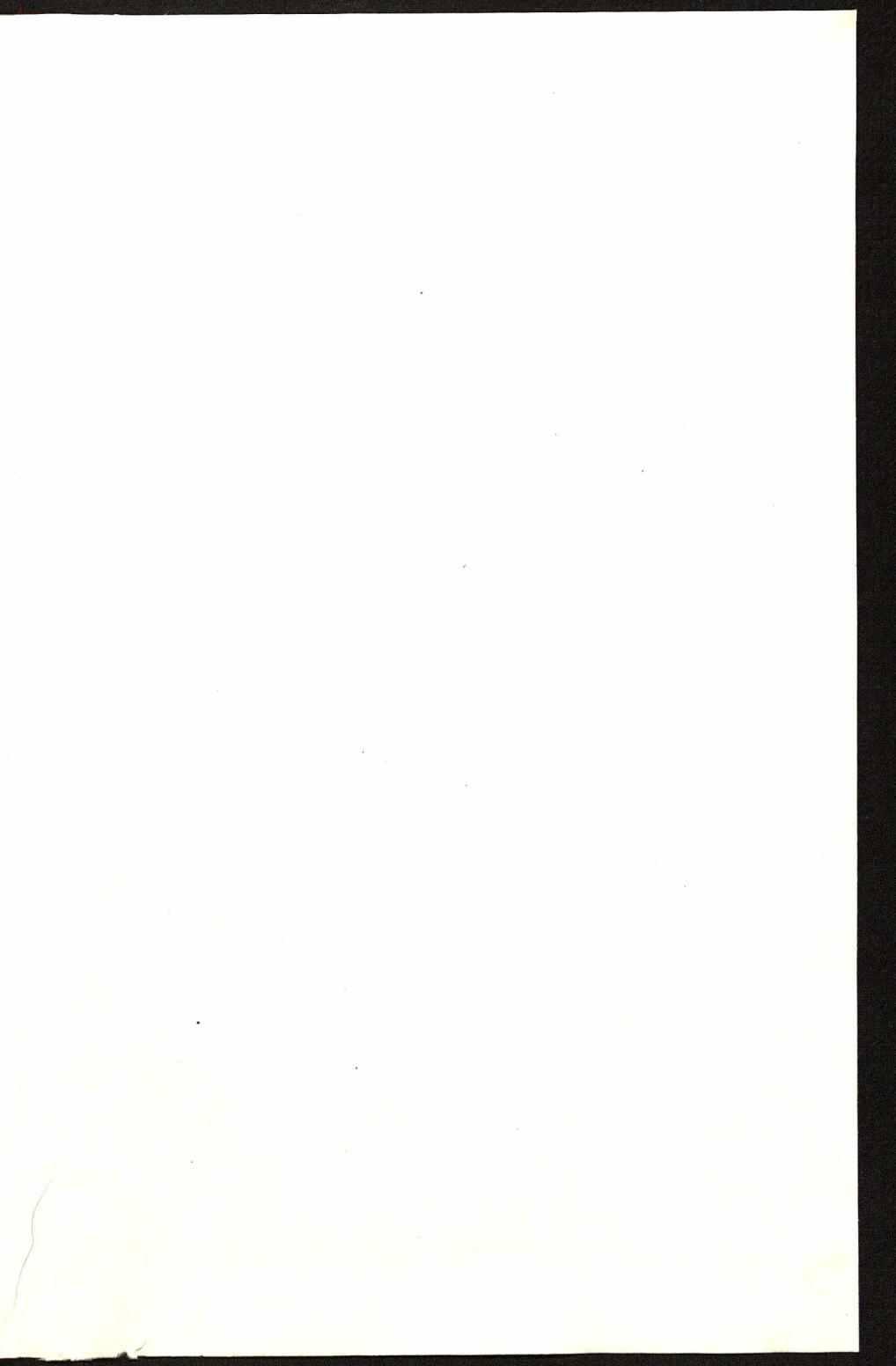
ОЛЕГ  
ДИМОВ

Смартфуты

ВДОЛЬ  
СВЕТЛОЙ  
РЕКИ

074922







С большой признательностью  
за подарок и поздравления  
счастья Нового  
года.

Автор - ОФР

Декабрь 1990

ОЛЕГ  
ДИМОВ

Смартфуты

ВДОЛЬ  
СВЕТЛОЙ  
РЕКИ

ПОВЕСТЬ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1989

K87+84(2=Рус)/7V  
Д46

P2  
Д46

с. 749522

Читинская областная  
БИБЛИОТЕКА  
им. А. С. Пушкина

ISBN 5-7424-0163-9

© Восточно-Сибирское  
книжное издательство, 1989

ФОНД  
красведения



### СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЛОГ

Когда прыгнул через городьбу, верхняя жердина хрястнула, приклад винтовки зацепил вторую — сдвоенный звук ударил в остекленевшее от мороза небо, упал на село и рассыпался по дворам собачьим лаем.

Черный кутенок, чуть больше рукавицы-мохнатки, переплыл сугроб, кинулся ему в ноги и только собрался твякнуть, восторженно, с подвизгом, он втоптал его в снег. Носком валенка отбросил пушистое тельце под сломанный пролет. Оглянулся. Лампа в доме стояла на подоконнике, через весь огород лежал желтый квадрат, затянутый, как решеткой, тенями от переплетов рамы. Вспомнил, что обошел его стороной, когда крался на зады. Кутенок всхлипнул, он наступил на него, поправил на плечах лямки рюкзака и, не оглядываясь больше, вошел в тайгу, которая начиналась сразу за огородами.

Ночной мороз набирал силу, пощелкивал в деревьях, вызванивал на льду ручья. Хрустнет, словно сорвется с промерзшего неба сосулька, зазвенит, разлетевшись блестками по льду. Под ногами с шелестом пересыпался сухой зернистый снег.

Все было надежно, и он даже немного заскучал от привычной уверенности в себе. Здоровое сердце гнало горячую кровь по сильному телу, легкие перекачивали стерильный воздух, удобная одежда тепло лежала на сухой коже. Здесь, в ночи, белой внизу и темно-звездной кронами и небом, он был своим. Медленно отдалялся брех потревоженных собак. Здесь все надежно, как надежно состояние вооруженного мужика в ночной полупрозрачной тайге. Пересыпая ногами снег и отмахивая километры, он вымораживал из себя усталость, нако-

пившуюся в общении с людьми. Как трудно с ними иметь дела. Велик создатель. Живут на авось и ловят случай.

Он никогда не ставил на случай, и если рисковал, то с гарантией, что к нему вернется хотя бы поставленное. Принимал все: расположенность, домашние адреса, рекомендации, номера телефонов, слова признательности. Брал даже памятью о том, что ему обязаны. Он знал, что самый надежный товар — это чувства, на которых можно играть. Как пальцами струны, трогать их словами, но осторожно, чтобы не рвались. В этом смысле он был хорошим музыкантом. Порядочный, но слабый человек может и переступить через мораль. И переступали, лишь бы отвязаться. И тогда, получив свое, он вычеркивал таких из памяти, потому что знал: перетянутая струна может лопнуть. Не любил шума.

Он не плел сетей, чтобы ловить простаков стаями: в сетях можно запутаться самому. Надежней каждого держать на отдельной нитке и следить, чтобы нити не сплелись в канат или сеть.

Он не полагался на случай, хотя искал его, чтобы размотать новую нить. Незримую, которую легко обронить, если окажется опасной или ложной. А в отдельный случай он не верил и смеялся над ним, потому что был пастырем случаев.

В лунные ночи на долгих переходах он иногда, развлекаясь, шел не наступая на тени. В густой тайге с подлеском это непросто. Особенно, если тени поперек ходу. Но теней не было, и, заскучав, он подумал, не отхлебнуть ли из фляжки пару глотков. Бросить на колодину рукавицы, сесть на них, выкурить трубку. Хоть какой-нибудь глупостью потревожить состояние надежности, от которого стало клонить в дремоту. И когда в стороне всплеснулся волчий вой, суетно заспешил на него, отводя руками ветки и внутренним взором скользя по бегущим нарезям ствола винтовки, отточенному клинку в ножнах у бедра. И уже виделось, как пуля выносит в сердце зверя осколки костей из лопатки и на кровавистом снегу парят матовые кишки. Заспешил на случай, и настоящее вывернулось кишкой на изнаночную сторону. Мерзлой веткой хрустнула стопа провалившейся в яму ноги...

Ночь высветлялась, прозрачные кипы крон и сопряжения хребтов графически четко ложились на полотно



неба. Свет словно лился из звездного ковша, который медленно наклонялся.

Стянув стопу бинтом и обувшись, он долго лежал на спине, ждал, пока боль разойдется по всему телу. Когда все болит, но терпимо, двигаться можно. Надо как-то выкручиваться. Если обронить конец нити, тянущейся за ним из села, то станет проще. Когда уходил, думал, что оборвал ее. Это было вопросом времени. Но оно остановилось. И как обронить? Упустить...

Когда ковш созвездия почти перевернулся, он выполз к дороге. Привалившись к рюкзаку, долго лежал в кустах у обочины, думал. Он привык надеяться только на себя, а дорога и люди — это цепь случайностей. Так, может, обронить? Вслушивался в себя, кажется, все было надежно. Не так, как раньше, но тело теперь не в счет. Если он его любил, то и всегда презирал. С ним столько хлопот. И сейчас, затяжелевшее, мерзнет, болит. Голова работает ясно. А это тот случай, когда ошибки быть не должно. Именно случай, расчленивший его на тело, которое будет волочиться за ним, и голову — собственно его самого. Только бы не переоценить себя. Еще не поздно разжать кулак и выпустить... Упустить. И по тому, как снова отказал себе в глотке-другом из фляжки, понял, что не выпустит.

Переполз через кювет, устроился на бровке. Рюкзак подложил под себя, винтовку воткнул прикладом в снег. Борозда следа из тайги беспокоила. Пахарь снега. Если бы он сюда пришел, то не задержался, а так к следу привязан. Ну и что? Сломал ногу, выполз к дороге. Усмехнулся: неужели в нем выработалась следобоязнь. Светобоязнь. Шалый волк. Перебрался на другую сторону дороги, пополз вдоль колеи. Часто отдыхал, перевернувшись на спину.

Когда свет фар вывернулся из-за поворота, заставил себя встать, опираясь на винтовку, шагнул в колею. Машину занесло от резкого торможения. Ухватился руками за буфер, лицо как расплавилось в режущем свете. Водитель на четвертой скорости гнал монолог о разных долбаках, спящих на дороге, но, поняв, в чем дело, посадил в кабину, забросил в кузов рюкзак, положил винтовку вдоль сидения, в ноги.

В лучах фар сверкали блески изморози, висящей в воздухе, и он понял, как темно и холодно там, откуда вырвался. Все хорошо, и от этого спокойно. Тепло,

клонит в дремоту... Проверяя себя, следил за дорогой. Кажется, был прямой спуск, и вдруг оказывается, что это подъем с поворотом. Значит, между ними было беспамятство. Сознание уплывало, растекалось туманом или обрывалось провалами, и он понял, что до ближайшего села не дотянет. Там, у дороги, где еще была возможность разжать кулак, переоценил себя. Не захотел упустить.

Вздрыгнул, всплыв из беспамятства. Попросил пить и долго не мог ухватить губами горлышко фляжки. Водитель притормозил, помог. Неболтливый. Крутит баранку, что-то нашептывает.

Откинувшись на спинку, наблюдал за ним из-под опущенных ресниц. Молодой. Типичный шоферюга-рейсовик. Зашибает на зимнике деньгу. В заезжке банку тушенки заперет, час на топчане вздремнет — и полетел. От сна чаем и куревом спасается. То из фляжки, то из пачки, которая на панельной доске висит. Держится... Кусочек магнита вложил в нее. Рядом еще один прилеплен — для путевки. Почему ее нет? Хотя здесь, на зимнике, где село от села на полную заправку бензобака...

Чертовы мысли — расплзаются. Голова будто тыква дырявая... Кладут банан в тыкву и ловят обезьяну. Не может кулак разжать. А надо... О чем это он? Да, шоферюга. Теперь они вдвоем тянут нить.

Удерживая уплывающее сознание, снял меховые рукавицы, под которыми были перчатки тонкой вязки, опустил правую руку в карман. Нашупал мешочек с патронами, отделяя по одному, протер их.

Попросил водителя остановиться. Откинул дверцу, свесился, сделал потугу на рвоту. Вытер слезы, отпал на спинку.

После свежего воздуха сначала стало лучше, а потом кабину заполнил туман. Кажется, водитель придерживал его за плечо. А туман густел и светился снегом, по которому он полз недавно, зарываясь в него лицом. И тянул нить... Надо ее оборвать, надо выдержать до первого поворота. Надо видеть...

Сжав зубы так, что они щеляво разошлись, и чувствуя, как из десен выступает кровь, он сквозь туман ловил взглядом дорогу. Прямая, она должна повернуть. И не случайно. Случай позади, и они еще не вышибли. Дорога повернет не только для него, но и для парня



рядом. Вот он подался вперед и весь там, в свете фар в набегающей колее.

Он осторожно опустил мешочек за открытое окно дверцы.

Парень за баранкой беззвучно шевелил губами, как напевал про себя или читал стихи, и не знал, что едет уже не по своей дороге. Он был молод и зряч, но беспомощен и слеп перед тем, кого придерживал. Его рука лежала на плече надежного поводыря, который знал все дороги и провел по ним многих. Крути баранку, но тебя уже не встретят там, где ждут, и ты не вернешься туда, откуда едешь. Случай...

Он никогда не ставил на случай, потому что был пастырем случаев. Случай — это для парня за баранкой. Что именно он положил руку на его плечо. Он смотрел на водителя и думал о дороге, по которой его поведет. Он видел, какая она, но жалости не было. Не этот первый, не он последний. Пусть идет. Сотни и тысячи бредут по ней. Великое шествие странников. Бичей. Одним станет больше. Великим бичом. Вел... бичом. Велбич... Велбич!

В бреду он хрипло рассмеялся и уже окончательно впал в беспамятство.

## *Глава первая*

### *ЗИМОВЩИКИ*

Две синевы — река и небо — и два солнца из них ослепили Гомырку, когда он вышел на свет божий из ада парной. Придерживаясь за стволы берез, он спустился к реке, повалился в воду. Наплававшись, взобрался на плот, вытянулся на теплых бревнах между упитанных после зимы, гладких как ленки геологов. Зной, лень, истома.

Река у бани, наткнувшись когда-то на гранитный утес, образовала большое улово. С берегом плот соединялся капроновым фалом. Если кому лень плыть, чтобы попариться, плот подтягивают к берегу, а потом он снова отдается прихоти ветра и невидимых течений. Вокруг плота на ярких надувных матрацах жарились



под солнцем геологи и рабочие. Выравнивали загар. Там, где положено быть трусам, молочная белизна.

— Есть два занятия, достойных мужчины: ходить в маршруты и париться в бане,— после каждого завтрака повторял Дробышев, старший геолог партии, и отправлял рабочих топить баню.

Все уже от нее устали, но отказаться не могли. Через неделю-другую вертолет разбрасает отряды по тайге и от бездумной жизни, жара парной, ночных чаев останутся только теплые воспоминания и надежды: после окончания сезона пройти через базу, отогреть в бане настывшие под осенними дождями тела.

В центре плота на дощатом помосте самовар. Гомырка нашел его зимой в тайге, в старом полусгнившем зимовье. Царапнул ножом — медь. Притащил на базу, чтобы изрезать на блесны, но, когда снял с боков зеленый налет, проявилась надпись: «Торговый домъ Лялиныхъ в Туле. 1863 годъ». Самовар стали звать «Лялины». Недостояющий кран Гомырка выточил из медного электрода, но притер плохо: кран подтекал.

Капли падали, впитывались в древесину. Гомырка поставил стакан. Цинь, цинь, цинь... Единственный звук в полуобморочной раскаленной тишине. Теньканье капель по дну стакана. Оно разбудило, напомнило, что есть жизнь, движение. Кто-то бревном скатился в воду, кто-то поднял голову и снова уронил на скрещенные руки. Дробышев лениво, как по обязанности, взмахнул удилищем; и только насаженный на крючок паут коснулся воды, она вскипела, а через мгновение темный хариус забился на бревнах. Дробышев снял его с крючка, бросил в садок рядом с плотом.

— Начальник прилетел,— сказал он Гомырке, посылая нового паута на заклятие рыбам.— Тобой интересовался,— добавил Дробышев, снимая второго хариуса.

— Чую, беда будет,— ответил Гомырка. Налил чаю, сдвинул ступни ног, колени разошлись в стороны и легли на бревна. Так Гомырка мог сидеть часами. Справа — кружка с чаем, слева — пачка «Беломора», спички. Дробышев всех уверял, что это священная поза огнепоклонников. Гомырку зауважали как единственного в партии огнепоклонника и с пониманием расходились за полночь от костра, оставляя его в священной позе. И не удивлялись, если утром оказывалось, что он так и сидит, только папиросная пачка и чайник пустые.

Много загадочного в Гомырке. Он никогда не смеется, ничему не удивляется, а если бы за каждое слово, сказанное в течение дня, ему давать рубль, то за год он и тысячи не скопит. Однажды упала рядом с ним сухостоина — ветром сломало. Полметра правей — заподлицо бы его в землю вбила. А он только и пробормотал: «Вот кстати» — и поставил на нее ногу. У него, оказывается, шнурок на ботинке развязался.

Даже возраст Гомыркин определить трудно. Утром ему можно дать тридцать лет, а вечером — тридцать пять. А если случается переест солонины или рыбы, после чего мучает жажда, и пьет он сахарную воду, в которую зачем-то дрожжи подмешивал, то дня через три все сорок лет ему дать можно, а то и больше. А вот после хорошей бани только на четверть века и вытянет. Светится лицом и заголубевшими глазами, а зубы, очищенные от табачного налета золой, белее мундштука «беломорины».

Начальник партии Артур Антонович Околесников, скрестив руки на груди, стоял на берегу у бани и смотрел на свой голый коллектив.

«Безделье развращает людей, — думал он, — Но, с другой стороны, — это первые полевые радости после города и последние перед маршрутами».

Голый коллектив под взглядом появившегося человека, одетого в трусы, да еще начальника, стыдливо перевернулся на животы.

— Давай к нам, — пригласил Дробышев.

— Не могу: дела. Но обещаю стакан коньяка тому, кто скажет мне: кто из вас — тихий пакостник?

— Мой стакан, — сказал Гомырка.

— Иди сюда, — позвал его с берега Околесников, — иди, не доводи меня до состояния, в каком я сам себя боюсь, — и выставил могучий волосатый живот.

Сверху Артур Антонович весь круглый: совершенно лысый шар головы с полукружьями ушей, розовых, как вареные дольки яблок; плечи широкие, округло-покатые, живот упругий. Дробышев рассказывал, что на своем животе Околесников однажды выпрямил кривой гвоздь. На этом у Природы кончилось благодушное настроение или материал, опущенный на Околесникова, и нижнюю его часть она сотворила ущербной. Как к ок-



руглой фамилии — Околесников — примыкали колкие имя и отчество — Артур Антонович, — так верхнюю часть тела поддерживали две тонкие подпорки — ноги.

Под могучим животом, по худым бедрам и резинке трусов, Околесников стянут португеей, на которой болталась кобура. Он смотрел на Гомырку как удав на кролика. Расстегнул кобуру, вынул трубку, кисет, газовую зажигалку. Наган и патроны, выданные для охраны секретных материалов и отпугивания диких животных (от жизни, как говорил Дробышев), Антоныч хранил в сейфе. Набил трубку, ловко прикурил от зажигалки.

Гомырка за фал подтянул плот к берегу.

Околесников водил Гомырку по базе. Антоныч, когда сердился, был до приторности ласковым и ехидным.

— Какая печь хлебная! Кирпичи сами делали, Гомырьян Иванович?

— Но.

— Вижу, вижу, — Околесников осмотрел печь со всех сторон, хлопал по бокам. — Звонкие кирпичи. Мастер, мастер. Сказка, а не печь. Сказка про Ивана-дурака. Зимой погостил и уехал на сварной печи.

Как в воду глядел Околесников. В феврале охотники мимо базы кочевали, отметили закрытие охотничьего сезона. День или два — Гомырка не помнит. Помнит только, что вокруг стола плясал Гаврилыч — второй зимовщик, босой и в кальсонах, залитых томатным соусом. Кто-то из охотников похвалил сваренную из листового железа печь и долго рассказывал Гомырке, что у них нет такой на охотничьей базе и они всю зиму едят содовые лепешки, которые вредны для желудка, портят себе здоровье, а жизнь и так полна опасностей. По этому поводу, кажется, всплакнули. А потом Гомырка помогал им грузить печь в оленью нарту...

— Ноченьки-то вы не спали, хлебушка-то не доедали, все дозором с ружьем ходили, стерегли добро от Велбича, — ворковал Околесников, заглядывая Гомырке в глаза. — А пойдем на теремок посмотрим, что ты на бугре срубил. Сказочный теремок.

Антоныч повел Гомырку к бугру, на котором стоял красивый дом, желтый, новый, что копейка с Монетного двора.



— Заходите, Гомырьян Иванович, вот сюда, по резному крыльцу в дверь. Только не стукнитесь, у меня здесь колонна стоит.

Справа от входа потолок подпирает неошкуренный ствол сосны.

— Не стукнулись? Жаль... А я, как первый раз вошел, стукнулся. Тук, тук, кто в тереме живет?— и Околесников, боднув головой лесину, извлек звук, какой бывает, если ударить медным котлом по телеграфному столбу.— Не знал, что у меня колонный зал.

Околесников открыл сейф, достал бутылку коньяка. Гомырка проглотил слюну.

— Один выпьешь или Велбичу тоже налить? Зимой захаживал в гости?

— До известной степени,— ответил Гомырка, глядя сквозь Околесникова.

Взгляд у Гомырки, как и все лицо, никогда ничего не выражает. Только иногда в глазах появится какое-то напряжение, словно Гомырка пытается что-то вспомнить. Говорит он всегда неохотно и, когда хочет, может не слышать, что ему говорят. Вот сейчас видит, как открывается и закрывается у начальника рот, шевелятся губы, а слов не слышит. Обтекают они Гомырку, как вода кран самовара. Кап, кап, кап...

— Кран у самовара надо притереть,— сказал Гомырка.

Околесников растерянно посмотрел на него, закрыл рот на полуслове.

— Ну, я все сказал,— вздохнул он.— Теперь ты рассказывай. А я прилягу с дороги, послушаю. Расскажи, как зимовал с Гаврилычем, как подняли на ноги всю экспедицию и мне прибавили седых волос,— погладил гладкую как яйцо голову.

Гаврилыч и Гомырка были зимовщиками на базе. В партии их звали коротко: 2-Г.

Гаврилычу под шестьдесят, и все его зовут дедом. Здоровья отменного, мал ростом, близорук. Ко всему нынешнему Гаврилыч относится свысока, ибо считает, что самый интересный период в истории человечества совпал с годами его молодости. Женщины тогда были красивей, генералы строже, коровы давали больше мо-

лока, рыбы в реках водилось — воды не зачерпнуть, а люди молотили руками больше, чем языком.

Когда-то Гаврилыч мечтал стать генералом и уважение к ним пронес через всю жизнь. Стоит ему прочитать в военных мемуарах, что такой-то маршал возглавил наступление или оборону, то Гаврилыч сдергивал очки и сердито говорил:

— Ешкин корень! Что у них там старого генерала не нашлось?

Чтение военных мемуаров было почти обязанностью Гаврилыча.

В армию он призвался в сорок втором. Был тогда (как сам выражался) дюже прытким и кой с какой грамотешкой и, может, поэтому попал в интендантство, дослужился до старшины.

На склады, где служил Гаврилыч, фашисты выбросили диверсионную группу, и он в составе роты полковой разведки сутки держал оборону. Потом началось большое наступление, в его неразберихе Гаврилыч прибил к разведчикам и воевал с ними целый месяц, принимал участие в захвате какого-то плацдарма. Его отловили, снова вернули на склады. Но тут месяц боев запомнился ему так, что из всей войны он больше ни о чем и не вспоминал.

Год назад кто-то из рабочих или зло пошутил, а может, это было правдой, но, познакомившись с Гаврилычем, сразу спросил:

— Ты, случаем, не разведчик?

— Спрашиваешь, — обиделся Гаврилыч.

— Так я о тебе читал! Гвардии старшина, так? Как ты возглавил оборону складов, а потом участвовал в захвате плацдарма. Еще ротного старшину разведчиков разыграл, и он масло в кашу переложил.

— Ешкин корень! — Гаврилыч раскинул руки, призывая всех быть свидетелями. — Так это я! И с кашей я!

Он в сотый раз стал рассказывать историю, как соврал старшине, что ожидается генерал с проверкой, и тот приказал повару положить в кашу «целый чалпан» масла.

Что за мера — чалпан? — никто не знал, но Гаврилыч произносил это слово так значительно, что все понимали: чалпан — это много.

— Ну, что я говорил, что! — расшумелся дед. — Кто не верил, что я разведчик? Вон человек про меня даже



читал. Стой,— спохватился Гаврилыч,— та ж где ты читал?

Выяснилось, что ни названия книги, ни автора рабочий не помнит. Читал ее в поезде, там и оставил. Кажется, военные мемуары какого-то генерала.

Теперь для деда не было лучшего подарка, чем книга военных мемуаров. Сначала ему дарили только генеральские, но так как Гаврилыч читал быстрее, чем они писались генералами, он стал принимать и маршальские.

— Чем черт не шутит,— говорил Гаврилыч надевая очки.

Рассказать о Гомырке трудней, потому что никто и ничего о нем не знает. Гомырка пришел в партию из «золотого фонда» экспедиции.

Работы в геологии сезонные, и рабочие приходят вешней водой, несущей всякую пену, обломки семейных кораблекрушений, водовороты судимостей и алиментов. Осенью откатываются с несбывшимися надеждами хорошо заработать и легко прожить. Но иногда из этой пены оседают в партии один-два человека, остаются на зимовку, на следующий полевой сезон. Партия заканчивает работы, они переходят в другую. Это и есть «золотой фонд» экспедиции. Недостатков у его представителей значительно больше, чем достоинств. Достоинство одно: они умеют работать.

Примерно так было и с Гомыркой. Околесникова в коридоре экспедиции остановил Хлебников, начальник другой партии, и предложил ему кадра на строительство.

— Я его знаю?— спросил Околесников.

— Нет, он у меня осел и четыре года безвыездно работал. Денег нет, чтоб продержаться до новой партии. Но ты мне его вернешь, Антоныч, как разворачиваться начну.

— Конечно, нет.

Зимой Гомырка выехал на место будущей базы. Прямо на снег выгрузили из машин стройматериалы, снаряжение, продукты, поставили палатку.

К началу полевых работ Гомырка с Гаврилычем заложили базу: построили склад, баню, жилое зимовье.

А теперь о причине гнева Околесникова.



Гомырка постоянно был во что-нибудь влюблен.

В конце зимовки он полюбил закаты. Солнце, изумительно круглое, как отлитое добрым мастером, разбрасывая последние лучи и длинные тени по синеватому мартовскому снегу, опускалось за бугор, недалеко от базы. Каждый вечер Гомырка курил на крыльце зимовья и ждал, когда солнце, проскользив по сосновым ветвям, присядет на бугор, но не покатится с него, а скроется по ту сторону.

Снег на бугре сошел, и он тепло зажелтелся хвоей. Гомырка часто приходил туда, осматривался, поднимал сосновые шишки. Они пахли смолой, талым снегом, прошлогодними дождями. Так пришла влюбленность в бугор, беспокойная, неясная.

Однажды перед закатом Гаврилыч вышел покурить с Гомыркой на крыльце и не нашел его там. Подумал, что ошибся временем, взглянул на солнце и оробел: Гомырка ерниковой метлой скатывал с бугра шишки.

— Ешкин корень!— выдохнул Гаврилыч. Отряхнул с кальсон стружки и короткими перебежками от дерева к дереву стал подниматься на бугор. Фронтальной разведчик брал высоту.

— Гомырка,— осторожно позвал дед.

— Но?

— Чего это деешь?

— Мету.

— А зачем?

— Дом буду строить.— Гомырка любовно осмотрел бугор, отбросил несколько застрявших в траве сучьев.— Иди, дед, покурим.

Последние слова показались деду разумными, он осмелел, вышел из-за сосны, но присел поодаль. Закурили.

С бугра была видна вся база, река с тропинкой к проруби, ближняя тайга, еще заснеженная, чернеющая старыми гарями и осками базальтовых обнажений.

— Пеня, коренья и вечная мерзлота,— вздохнул Гаврилыч. Разгреб хвою возле себя.— А здесь песочек. Дивное место. Ну, строй себе дом,— великодушно разрешил дед.— А я грешным делом подумал, что у тебя крыша поехала,— и крутнул пальцем у виска.

Вечером Гомирка искал в стружках щепу на клин для топора, Гаврилыч выдалбливал из тополевой чурки лоток.

Наука пришла в геологию с ЭВМ, электронными микроскопами, спектральным анализом, космическими снимками, но не отменила старый и надежный метод опробования на золото и тяжелые минералы: промывку породы в лотке. А вот мастера-лоточники перевелись. Гаврилыч был одним из последних.

Дед отложил стамеску, скрутил самокрутку.

— Вот, ешкин корень, не будь я человек с придурью, ничего бы здесь не было.

— До известной степени,— согласился Гомирка.

— И я про это говорю,— оживился Гаврилыч и, рассматривая желтые слоистые ногти на босых ногах, стал рассказывать:

— Та ж на реку мы с Околесниковым выбросились на вертолете, чтоб место под базу найти. В осень прошлого года. Начали с верхушек на лодке спускаться. Где плывем, где на бечеве тащим. Как-то после чая пошел я по нужде в кусты и порвал сапог. Толково клеить некогда, мало-мало залепил, а чтоб не сдиралась латка, мы ее бинтом замотали. Вот, ешкин корень, тащу я на бечеве лодку, а сапог забинтован. Я так на него смотрю жалостно, и кажется, что кровища хлещет. «Чего ты хромаешь!— сердает Антоныч.— Тяни шибче». — «Как же не хромать,— отвечаю,— если привычка фронтовая». И хромаю, едва тащусь.

— Так,— поддакнул Гомирка.

— Вот, вот, улавливаешь. Я хромал, хромал да и стер ногу,— и дед залился веселым смехом.— Пришлось нам здесь ночевать. А утром Антоныч осмотрел берег и говорит, что лучшего места для базы не надо: лес — строевой, река рядом и место есть для площадки вертолетной. А не хромай я, проскочили бы.

Гаврилыч заплывал самокрутку, бросил к печке.

— А дальше что?— задал он сам себе вопрос.— Лотки я из тополя делаю: самое подручное дерево для твоего клина. Или сосна еще. Какой другой, твердый, из мерзлого топорща что намыленный выскочит. Не найди ты клин хороший, топор бы у тебя не так ладный был. А уж характер у тебя, Гомирка, скажу такой: коль что не полюбится — делать не будешь.

— Но.



— Вот, вот. Без хорошего топора дом строить не будешь. А с моим клином — построишь. А потом, глядишь, с партией какая-нибудь бабенция прилетит, — Гаврилыч сладостно прикрыл глаза, представляя эту «бабенцию». — Эх, какая! Кровь с молоком. В бок ткни — так и брызнет. Вот, ешкин корень, и шась к тебе в дом. Разве в общую палатку она смогла бы прийти? А ведь какой случай: не порви я сапог, не было бы здесь базы, дома, который ты построишь, бабенции в нем и, может быть, космонавта будущего, который народится у нее.

Гомырка надоело слушать деда, и он больше не поддакивал, молча насаживал топор. Гаврилыч вздохнул, задумался. Наверное, о том, как трудно жить в мире, где космический престиж целой державы зависит от латки на его сапоге.

Утром, солнечным и морозным, Гомырка принарядился: надел новую рубаху. Дед тоже решил не отстать и поверх повседневных кальсон натянул ватные штаны.

Позавтракали вермишелью с тушенкой. Лицо Гомырки, как всегда, ничего не выражало, но ел плохо, часто поглядывал на плотницкий инструмент.

Дед проводил его до трактора. Сам уложил в сани мотопилу и топор.

— Ну, с богом, — сказал Гаврилыч и зачем-то снял шапку.

Гомырка завел трактор, погнал на лесосеку.

Выбирал только листовницу. Сосна — дерево легкое и мягкое, самое подручное для одного, но недолговечное. Сруб клал на деляне. Положит три-четыре венца, разберет, нижние отвозит на бугор, а на верхний, оставшийся, продолжал рубить стены. Получалось, что работал на земле, без лесов. Рубить-пилить удобно одному, инструмент весь под рукой.

Гаврилыч по два-три раза разогревал обеды. Колодил в рельсу так, как будто приглашал на обед родственника, проживающего в Саратове.

Гомырка исхудал, перестал бриться. А вечерами долго ворочался в спальном мешке, курил.

— Чего бормочешь? — спрашивал дед, которому хотелось поговорить.

— Спи, дед, спи... Сук там у меня. Просмотрел. Прямо в середине стены. Надо бревно заменить.



— Да было бы с чего!— возмущался дед, садился на нарах, крутил самокрутку.— Если бы по бабенции так сохнуть или, на худой конец, по молодой девахе, куда ни шло. Но по дому с ума сходить! Бревна! Хотя, с другой стороны, дом может жизнь изменить. Не будь у моего деда дома в Саратове, я бы сейчас генералом был и командовал разведкой всей страны. Подпортил мне дед анкету. Домовладелец! А все проклятый Наполеон. Если бы не пришел в Москву, прадед не погорел бы при пожаре, не переехал бы в Саратов и не стал купцом. Вот, ешкин корень, из-за Наполеона я не стал генералом...

Гомырка думал о бревне, в котором сук. Всю стену портил.

Для отделки дома Гомырка распустил мотопилой на плахи несколько сосновых бревен. Плахи, проложив брусьями, высушил в бане и вечерами прогонял фуганком. Часть их использовал на плинтусы, наличники, окосячки, а остальные соштабелевал за мастерской и часто подходил, соскребал ножом янтарные натеки смолы, оглаживал, любовался узорчатой фактурой дерева.

— Гаврилыч, ты сегодня выходил на свет?— как-то вечером спросил Гомырка, отмывая подсолнечным маслом смолу на руках.

— С утра не был,— ответил дед из угла.— Почки у меня здоровые.

— Лет десять еще протарахтишь?

— Окстись! Десятка два загадываю.

— Значит, скоро цинковый гроб тебе не потребуется. Выйди, глянь на дом.

Гаврилыч отложил лоток, стряхнул с коленей стружки, вышел на крыльцо: дом блестел крышей. Десять листов оцинкованного железа, которое Гаврилыч прятал за складом и скрывал даже от Околесникова, нагло пускали солнечных зайчиков деду в глаза.

— Ворюга!— сказал дед и сел на ступеньки. Через кальсоны заходило, но он не замечал, все смотрел на дом: из его крыши росла сосна. Гаврилыч рысью

с. 749522

Читинская областная  
библиотека  
им. А. С. Пушкина

вбежал на бугор, на крыльцо, распахнул дверь. В правом ближнем углу — от пола до потолка — неошкуренный ствол. По полу даже плинтусом обметан. Гаврилыч потрогал рукой желтую кору, вытер засмолившуюся ладонь о голяшку ичига.

Вернувшись в зимовье, сказал Гомирке:

— Пустой ты человек. Вокруг дерева дом построил.

— Но.

— Какая с дерева в доме польза?

— Гвоздь забить и пиджак повесить.

— Тебя надо повешать за одно место. Непуть ты, и разговаривать с тобой не о чем, — и дед громко застучал молотком по долоту.

За вечер так и не сказал ни слова. И только укладываясь спать, буркнул:

— Какие руки, а дураку достались.

Через десять листов железа на крыше Гаврилыч стал считать себя причастным к строительству дома. Причем он быстро забыл, что железо не давал, и по вечерам, нахваливая дом, бил себя ладонью по худой ляжке:

— Та ж как ты старого пронял: железо свое не пожалел. Двести лет простоит и не потечет, а то бы живо сгнил.

Беспокоясь, как бы дом не оказался недостойным его железа, дед стал наводить ежедневные инспекции. Внутрь, где шли работы, Гаврилыч не решался заходить, а заглядывал в окна и дверь, оценивал каждую новую деталь отделки.

— Тэк, тэк, — начинал он обычно и надевал очки. — Что мы здесь наделали? Ах, вот как, фуганочком прошлись. Тэк, тэк. А туточки порожек посадили. Ну, молодцы! А вот фронтончики надо заделать.

И, хотя видел, что Гомирка приготовил на фронтоны доски, тем не менее хозяйски указывал:

— Ты, Гомирка, того: кончай там финти-минти наводить и обязательно лбы зашей. А то так и оставишь. И смотри, дверь не обкороть, а то щель будет.

Дав столь ценные указания, дед садился перекурить.

День ото дня дом хорошел. Заблестел стеклами в фигурных рамах, вокруг которых нежными лепестками раскинулись наличники и ставни, украшенные затейли-



вой резьбой. Такая же резьба по обшивке верхнего венца, а на лбах она свешивалась с крыши в виде тонких сосуллек. На три стороны от крыльца застывшими волнами стекали ступеньки, сделанные из цельных бревен.

— Давно бы так,— ворчал дед, попыхивая с самокруткой в сторонке.— А то как же без руководского догляду.

Но особенно дед зауважал дом, когда обнаружил, что в нем нет ни одного гвоздя. Не поверил своим глазам, весь обошел и ощупал—нет гвоздей. Даже занервничал. Как так? Все держится—и без гвоздей. Везде хитрые пазы и замки да деревянные шпильки. Последние надежды дед возлагал на дверь, но здесь разочарование: вверху и внизу поперек набранных досок Гомырка сделал два непараллельных трапециевидных вреза, сужающихся к одной стороне, и вбил в них поперечины.

— Углом берешь!—ударил себя по ляжкам дед.— Та ж углом,—и, довольный, что догадался, чем берет Гомырка, лукаво погрозил ему пальцем.

Вконец умилившись тем, что Гомырка ему угодил и дом построил вполне достойный крыши, Гаврилыч после двухнедельного ворчания в собственный адрес, что вот он какой мот и всякий может его объегорить, принес из склада ведро краски. Но Гомырка не оценил его жеста.

— Дед,—сказал он,—гвозди в дерево только дятлы забивают. Слышишь, с утра до вечера стучат. А знаешь, кто дерево красит?

Дед обиделся, унес краску и больше в этот день не приходил. Так и не узнал, кто красит дерево. Колотил по долоту в зимовье, бурчал:

— Строй, строй, только потом не жалуйся...

На что должен жаловаться потом Гомырка—дед не знал. И мстительно представлял, что подул ветер и дом развалился.

Строил Гомырка, как будто родился и жил только для того, чтобы построить этот дом. Все из себя вынуть и построить. Как будто это был последний дом в его

---

## **Это была демоверсия книги - Димов О.А. Маршруты вдоль светлой реки**

С полной версией книги, Вы можете ознакомиться в нашей библиотеке по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ангарская, д. 34